

**ВАСИЛЬ
БЫКОВ**

**ЖЕСТОКАЯ
ПРАВДА ВОЙНЫ**

**ВОСПОМИНАНИЯ
ПЕХОТИНЦА**



**НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ**

На войне как на войне

Василий Быков

**Жестокая правда войны.
Воспоминания пехотинца**

«Алисторус»

2002

УДК 323 (470+571)
ББК 66.4(2)

Быков В. В.

Жестокая правда войны. Воспоминания пехотинца /
В. В. Быков — «Алисторус», 2002 — (На войне как на войне)

ISBN 978-5-907255-36-4

Василь Владимирович Быков – писатель с мировым именем, известность которому принесли повести и рассказы о войне. Быков на себе испытал ее ужасы и тяготы, три года сражаясь на фронте в пехоте. Он участвовал в боях за Украину и Молдавию, освобождал от фашистов Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию и Австрию. Воспоминания Василя Быкова отличаются предельной точностью в деталях, бескомпромиссностью в описании неприглядных сторон войны: он показывает ее жестокую правду глазами простого пехотинца, который видит, как сражаются и гибнут его товарищи, зачастую расплачивающиеся ценой своей жизни за чужие ошибки.

УДК 323 (470+571)

ББК 66.4(2)

ISBN 978-5-907255-36-4

© Быков В. В., 2002

© Алисторус, 2002

Содержание

Перед войной	6
Военная катавасия	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Василь Владимирович Быков
Жестокая правда войны.
Воспоминания пехотинца

© Быков В.В., правообладатели, 2020

© ООО «Издательство Родина», 2020

Перед войной

Родные мои места, по-видимому, не очень типичны для равнинного севера Беларуси: резко пересеченный рельеф, холмы и ложбины, овраги, болота и озера. Озер, пожалуй, даже излишек – посреди поля и лесных, круглых, овальных, с искривленной конфигурацией берегов, порой голых, а в большинстве заросших камышом. Ну и, конечно же, леса. Красных боров, правда, осталось мало: их вырубали – особенно после войны – на строительство, на дрова, на продажу. Поля почти повсюду тесные – лоскутки на пригорках, в низинах, часто изрезанные оврагами с олешиником на склонах. На этих лоскутках возле леса, возле болота, над речками и озерами рассыпаны деревни – небольшие, с кривыми улицами, а то и без улиц, – от хаты к хате ведут тропинки. Не хутор и не село, но так, очевидно, сподручней было вести хозяйство, когда все под рукой, вблизи хаты – и хлева, и амбар, и картофельные погреба, гумно с молотильным током, поветь и сарай для сена. Даже маленькая деревушка издали казалась большой застройкой. С течением времени строений оставалось все меньше – горели, разрушались, переносились поближе к колхозным усадьбам, коровникам и конюшням. Меньше становилось и людей. Ныне в моих родных Бычках два десятка хат, половина из которых пустует. В остальных доживают свой век немощные пенсионеры.

Наш двор в деревне был крайний, дальше – поле и заросший олешиником да орешником овраг. С этим оврагом прежде всего и связано мое раннее детство; в овраге, особенно летом, все поражало маленького хлопчика, все было чудом, манило к себе, вызывало острое любопытство. Там сливались два ручья, образуя у камней запруду, тропинка, ведущая к ней, была изрыта кротами – над входами в нору чернели холмики свежей земли; чуть подальше, на склоне оврага, зияла нора барсука; у подножья обрыва струилась из-под камней криничка.

Все довоенные годы мы брали из нее воду, хотя зимой тяжело было таскать ведра по крутым скользким тропкам. Но колодца во дворе хаты у нас не было, а криничная вода была чудесная – чистая, студеная даже в зной, вкусная, как говорила мама. В колодце такой не бывает.

О дедах-прадедах не знаю почти ничего, очевидно, в памяти нашей семьи мало было о них преданий. Или, может, родители не считали нужным о них рассказывать. Да и нам самим, ребятам, поначалу это было неинтересно, а потом некому стало слушать. Знаю только, что один мой дед был потомственный рыбак, всю жизнь ловил рыбу. Передал это дело сыну, брату моей матери – Лявону, который тоже всю жизнь рыбачил. Другой дед был крестьянин-отходник, сезонно работал на промышленных предприятиях в Курляндии, к старости выбился в люди – стал управляющим кирпичным заводом, там же, в Курляндии. Бабка жила в деревне, рано умерла и особой памяти о себе не оставила. Мой отец, Владимир Федорович, в молодости немало поскитался по свету и только на старости лет осел в родной деревне. Когда смотрю теперь на его жизнь, на судьбу его поколения, думаю, что, наверное, это самое несчастное поколение, которое никогда доли не знало. Один разор, революции, войны. Да коллективизация. Да борьба с врагами народа... Голод, кровь, муки.

Земли было мало, как тогда говорили – два надела, поэтому отец каждое лето подавался на заработки – на кирпичные заводы в Латвию, затем прослужил четыре года в царской армии в Гродно, где, кстати, потом и мне довелось жить. Не успел отец вернуться со службы в армии – началась Первая мировая война, и его снова мобилизовали. Оказался в армии генерала Самсонова, попал в плен и очутился в Германии. Работал у бауэра. В плену кому как повезло, в зависимости от того, на какие работы человек попал. На заводах и в шахтах приходилось туго, а в хозяйствах бауэров жизнь была вполне сносной. Разумеется, надо было вкалывать, но бауэры неплохо кормили, одевали, как-то заботились о работниках, не то, что было с ними годы спустя на родине, в колхозах. Отец часто поминал свой плен добрым словом, что у меня, вечно голодного подростка, вызывало недоумение и зависть.

Еще отец побывал на гражданской войне, наступал на Варшаву. А перед тем поляки наступали на нас, в окрестности нашей деревни шел бой, с обеих сторон было много убитых. То место, где лежали убитые, потом долго называлось Битой пажитью. Мама рассказывала, как некоторые крестьяне стаскивали с убитых сапоги, одежду. Рассказывала с осуждением, даже со страхом (ведь это – великий грех). Показывала в углу хаты дырку, в которой застряла пуля, прилетевшая оттуда, с Битой пажити. Я тоже не любил ту пажить, но больше из-за колючей травы, которая там росла и больно колола босые ноги.

Мать, Анна Григорьевна, была родом из деревни Заулук, которая оказалась по ту стороны границы, на территории Польши. За границей остался и ее брат, тот самый, что ловил рыбу. Мать все время о нем горевала, наслушавшись агитаторов, которые говорили, что трудящиеся в Польше лишены всех прав и мечтают о кусочке хлеба. Наша деревня находилась в каких-нибудь двух километрах от границы – обстоятельство, которое накладывало свой отпечаток на многое: на быт, политические воззрения, на самоощущение людей.

С границей у меня связано немало юношески романтического и драматического тоже. В Кубличах рядом со школой была пограничная комендатура, возле школьного двора – конюшня и тир, или стрельбище, где командиры-пограничники упражнялись в стрельбе из револьверов. По дороге в школу и из школы постоянно встречались конные пограничники, с винтовками и шашками, в красивых скрипучих седлах, куда-то они каждый день скакали группами или попарно. Командиры жили в местечке, а их жены были нашими учительницами в школе. Иногда пограничники показывали в деревнях кинофильмы, были как бы шефами. На какой-нибудь праздник устраивали на площади местечка джигитовку – всадники на всем скаку рубили шашками лозу. Все это было интересно. А летом пограничники купали лошадей в Комаровском озере, мы им помогали. Не обходилось, разумеется, и без драматических событий. Помню, как однажды зимой примчалось в деревню начальство, всех мужиков погнало в засаду – подкарауливать нарушителей границы, и мужики целые сутки просидели в кустах, чтобы подать сигнал, если кого-либо заметят.

* * *

В Кубличах, как в каждом белорусском местечке, было много еврейских детей. В нашем классе половина учеников были евреи. Я дружил с братьями Свердловыми – Меиром и Лейбой. Меир был старше меня, опережал на два класса, а с Лейбой мы были одноклассники. Погиб мой Лейба Лева в 41-м году, расстрелян вместе со всеми кублическими евреями в Ушачах, а Меир жил в Москве, работал в каком-то закрытом «ящике», на секретном производстве. Как-то он приезжал в Минск, и мы вместе съездили в местечко нашего детства, где и следа не осталось от хаты Свердловых. Вообще, почти ничего не осталось от прежних Кубличей – все разбомбили, сожгли, уничтожили во время войны. А когда-то это было славное старинное местечко, обозначенное на географических картах еще в XVI веке, со старинной православной церковью (бывшей униатской) – в этой церкви меня крестили, в ней принял первое причастие.

Школа в Кубличах была с незапамятных времен, были синагога, аптека, кузница и даже пожарная каланча, рядом с церковью. Главное место, однако, занимало примыкавшее к ярмарочной площади кирпичное здание пограничной комендатуры. Со временем его огородили высоким дощатым забором, вкопали на изгибе, в углу забора, деревянный столб, который служил турелью ручного пулемета. В 30-е годы была построена новая неплохая школа, но тогда же сорвали кресты с церковных куполов, чтобы их нельзя было разглядеть с сопредельной стороны границы – а как же! Ведь кресты – это ориентиры для «мировой буржуазии», которой нейдет разрушить Кубличи. Но разрушать их стали сами. Все церковное имущество конфисковали, или попросту разграбили, воинствующие атеисты, которыми обязаны были быть все пионеры, комсомолцы, учителя, партийцы и беспартийные активисты. И мы – активисты-пионеры –

таскали из церкви и рвали в клочки старинные фолианты, мастерили из церковных рукописных пергаментов воздушных змеев, запускали их в небо в ветреные дни. А районный быткомбинат пошил из церковных риз тюбетейки, в которых не один год ходили летом наши хлопцы.

В первый год войны все еврейское население оккупанты согнали в Ушачи и расстреляли возле кладбища. Перед самым освобождением Кубличи беспощадно разбомбили и сожгли. Теперь это захудалая деревня с несколькими зданиями из силикатного кирпича, которые стоят при въезде в деревню.

Как это забыть? Христианские традиции искоренялись, церкви и костелы были закрыты, священников сажали в тюрьмы. Но неискоренимыми оказались старинные праздники и обряды – Коляды, Деда, Купалье. Особенно любили Купалье. В ночь на 7 июля сельская молодежь, а молодежи тогда было куда больше, чем теперь, зажигала костер – огненный круг. Или зажигали смолистый корч, который привязывали к длинной жерди и втыкали ее в землю на пригорке за хатой Головачей. И тут же разбегались кто куда: из Кублич, увидев огонь, скакал конный пограничный наряд. Пограничники опрокидывали жердь, гасили факел, ругались – зажигать огонь в Купальскую ночь запрещалось. На вопрос – почему, следовал лаконичный ответ – потому!..

За лесом (зарослями кустарника) находилось местечко Селищи, католический центр региона с большим костелом и монастырем; крыша монастыря была из белой блестящей жести – эта крыша была видна аж с нашего поля. На селищанском католическом кладбище стояли очень красивые мраморные памятники с латинскими буквами, шумели сосны. Посреди кладбища стояло белое мраморное изваяние девушки в образе ангела, скорбящего над могилой. Мы, дети, почему-то очень этого памятника боялись. Ныне Селищи тоже превратились в захудалую деревню с разрушенным костелом и заброшенным кладбищем.

До войны Кубличи были центром сельсовета, а Ушачи – района. Но для меня это был настоящий город, далекий и заманчивый – там клуб, столовые и даже книжная лавка. В лавке висела известная картина Зайцева – репродукция, разумеется, – «Чапаев на коне». Герой был изображен в бурке, с блестящей саблей в опущенной руке. Небо и облака на картине были как настоящие (тогда умели так писать). Изредка бывая в Ушачах, я всякий раз заходил в книжную лавку полюбоваться Чапаевым.

* * *

...Вспоминается 1932-й, кажется, год, весна. В стране шла коллективизация – крестьян агитировали, что в колхозе будет лучше, а они, дурни, не верили и тем самым создали конфликт с государством. А как этот конфликт выглядел на практике?

Был мал, но хорошо помню, как в деревне шло собрание – несколько дней подряд мужиков уламывали вступить в колхоз. Те упирались, думали, будто что-то зависит от их согласия. Напрасно!

Помню, проснулся однажды рано утром от маминого плача. Я в детстве очень чутко улавливал мамино настроение и сразу сочувственно на него отзывался.

Но я никогда не видел, чтобы мама плакала. А тут просто причитает, как по покойнику. Рядом в углу, понурившись, сидит отец. Я подбежал к матери, спросил: «Ты чего?» А отец говорит: «Не трогай ее – организовался колхоз». Ну, организовался, и пусть, но почему плачет мама? Оказывается, потому, что на рассвете приехала бригада и выгребла все из кубышек, из мешков и сусеков. Вот с тех пор и началось. Известно, как в колхозах было – голод, подневольный труд, репрессии... Железной поступью шло раскулачивание. Раскулачили мужика, у которого была корова с телушкой. У всех по одной корове, а у этого – с телушкой. Другого раскулачили за то, что летом племянница помогала ему жать жито. А это – использование наемной силы. Третьего раскулачили как саботажника. Не хотел вступать в колхоз, упирался. Вывозили семьями. Помню хлопчика, с которым учился. Раскулачивали осенью, не помню, до

организации колхоза или позже... И вот хлопчик этот не пришел в школу, и я побежал к нему узнать, что случилось. Вижу, возле его хаты уже грузят скарб на подводы, а мой одноклассник хвалится: «А мы в поезде поедим, ага!» И мне стало завидно – почему моего отца не раскулачили, и я бы в поезде поехал... Я ведь поезда даже не видел...

Создали колхоз, пришла весна, доели бульбочку, которая осталась после обобществления. Есть стало нечего. Ели мякину с травой, крапиву. И так продолжалось много лет, потому что в колхозе ничего не получали. Урожай ежегодно были плохие, все, что вырастет, шло на государственные хлебозаготовки и в семенной фонд. Помню такие моменты... Отец пойдет осенью за окончательным расчетом и принесет годовой заработок – полторбы жита. И это все, что мы заработали за год, работая в колхозе всей семьей. А ведь с нас еще и поставки: мясо, шерсть, яйца, молоко, а еще денежный налог, страховка, государственный займ – всего и не перечислить. Где взять деньги? Что продать, чтобы расплатиться? Когда были единоличниками, выручал лен, сами его обрабатывали, перерабатывали, в самотканое льняное полотно одевались. А теперь со льном стало очень строго – тоже обложили налогом. Взимали беспощадно.

То время запомнилось мне непривычной подавленностью отца. Стало обычным, что он приходил с работы в колхозе угрюмый, молча съедал какую-нибудь похлебку, которую мать ему подавала, и выходил из хаты, садился на колоду у дровяного сарая. Молча курил. Мать его в такие минуты не трогала, мы, дети, тоже молчали. Мне казалось, что отец рассержен – может, на меня? И я тоже на него обижался, злился, дурачок... Много позже понял причину подавленности отца – ему, как и всем крестьянам, жить стало невмоготу...

Вечной проблемой были одежда и обувь. Особенно обувь, она на мне просто «горела» – по грязи, по снегу каждый день за три километра в школу. Три туда, три обратно. А башмаки единственные. То же и с одеждой – ходил в обносках. В магазине же ничего не купишь. Помню, когда в сельпо завозили мануфактуру, за ней была черт знает какая давка. Керосин отпускали по литру, а то и по пол-литра на месяц, и только по книжке пайщика. Придешь домой из школы зимним вечером – в хате темно, лучина горит на припечке, и при ней надо готовить уроки. Правда, среди этой беспросветной нужды выпадали изредка и светлые минуты. Как-то осенью вызвал меня к себе директор, посмотрел на мои рваные, заляпанные грязью башмаки и говорит: «Сходи в сельмаг, примерь гамашки. Скажи, директор велел примерить». Сходил я, примерил, а потом директор мне эти гамашки купил. Все-таки я был отличник, и, очевидно, это что-то значило. Уж как я берег-лелеял те гамашки!..

Как раз в это время отец взялся за строительство новой хаты, старая сгнила, жить в ней стало невозможно. Зимой отец ходил в сельсовет за разрешением спилить деляночку сосен, затем бревна надо было как-то привезти, просить у колхоза подводу. Уже в теплую пору отец закладывал фундамент, затем ставил сруб. И все сам, один, а ведь от полевых работ в колхозе его никто не освобождал, работать приходилось и там, и тут. Придет, бывало, на полдник и сразу к срубам – тук, тук топором. Осенью перебрались в новую, еще недостроенную хату, без пола. Приятно пахли свежей древесиной стены, но не было печки – ее ставили уже в предзимье. Намерзлись, пока поставили...

* * *

...Летом 1937 года бабы на лугу у речки сгребали сено. Под вечер возле мостика остановилась райкомовская «эмка», из которой вылез какой-то чиж в пиджаке и приказал бригадире дядьке Антону собрать баб в кучу. Быстренько все собрались на пологом пригорке, стояли, устало опершись на грабли. Райкомовец развернул газету и стал читать вслух: «В Красной армии орудовала группа вредителей и шпионов во главе с маршалом Тухачевским. Они подсыпали в еду красноармейцев отраву, битое стекло, выдавали иностранцам военные тайны.

Верховная коллегия Военного трибунала приговорила их всех к расстрелу, и вчера приговор был приведен в исполнение. Славные советские чекисты не подвели и в этот раз!»

Бабы плакали – это ж надо, какие подлюги! «Хорошо, что их раскрыли, а то моему младшему осенью призываться – отравили бы, загубили бы моего сыночка!» – плакала от радости одна баба из Слободки. «Ага, ага! – соглашалась другая. – Разве ж им жалко наших хлопцев! Зверюги этикие!»

Бригадир дядька Антон упорно молчал. Кто знает, о чем он думал. Но он был умный мужик, и мы, дети, его уважали. Только знать, о чем он молчит, мы тогда не могли...

Деревня наша в основном была православная, но из хуторов подселили несколько католиков. Помню фамилии: Левицкий, Блажевич, Корсак. Вот их и взяли в первую очередь. Взяли также нашего соседа Бориса. Арестовывал обычно районный оперуполномоченный НКВД Перетятыкин. (Он и после войны приезжал в нашу деревню, – потянуло, должно быть, на место преступления.) Ну и пограничники старались – не столько охраняли границу, сколько хватали ночью сонных мужиков на своей стороне. Что пограничники, что НКВД – одна система. Никто из репрессированных не вернулся – все реабилитированы посмертно... Взяли тогда и нескольких учителей, в том числе и нашего директора школы Карчевского, который когда-то купил мне гамашу. Но и самих пограничников, включая командиров, тоже арестовывали. Так был арестован капитан Акулов, муж одной из наших учительниц. Любопытно, что в роли сексотов – стукачей – использовали учеников старших классов. Когда судили директора, одна из наших учениц была на суде свидетелем обвинения. Это в 15 лет!

И в каждой деревне были у них сексоты, где получше, где похуже, активные и не слишком. Нам в этом смысле не повезло. В сельскую общину влез чужак, пришлый человек, – после гражданской войны примостился к местной женщине. Не знаю, откуда он был родом, знаю только, что НКВД установило с ним очень тесный контакт. И он даже не скрывал этого, напротив, хвалился, что помогает чекистам.

Где-то в 50-е годы, когда я приезжал к отцу, тот приبلуда без приглашения навещался к нам в гости и за чаркой признавался, что хотел посадить отца, была причина, да пожалел. И отец был ему благодарен. Не знаю, что имелось в виду под «причиной». Может, мамин «контрабандный» переход границы?

Не могу не рассказать об этом «уголовно-политическом» мамином преступлении. Как я уже говорил, мама была родом из деревни, находившейся по ту сторону границы, и долгие годы ничего не знала о своем брате. Не знала даже, жив ли он. В тридцать девятом году, после воссоединения Западной Беларуси с БССР, появилась надежда получить от брата весточку. Но хотя новая граница была теперь аж за Белостоком, старую не ликвидировали. Охраняли по-прежнему бдительно, чтоб никто – ни туда, ни оттуда. И однажды, когда в доме было особенно голодно, мама решила перейти границу тайком. Собралась и пошла – через лес, через болото, берегом озера. Уж дорогу-то она помнила с детства! И – прошла. И вернулась. И принесла голодным гостинцы: немного муки в мешочке и баранью голень. Оказалось, что мамин брат под панским гнетом жил все же лучше, чем сестра, у которой месяцами не было на столе даже хлеба. И теперь – все еще! – жил лучше.

Мама долго боялась, что кто-нибудь на нее донесет и ее посадят. Слава богу, не посадили, и мы решили, что никто ничего не знает. Оказывается, кое-кто дознался...

* * *

Летом я отправил документы в Витебск, в художественное училище.

Теперь, по прошествии лет, не думаю, что это мое решение было внезапным, по всей вероятности, это было требование судьбы. Жизнь в колхозе стала невыносимой, голод и

репрессии гнали людей прочь. Но взрослым бежать из колхоза было некуда, только молодежь и подростки могли найти какой-то выход.

Витебск поразил многолюдьем и... трамваями. С некоторым страхом ехал в трамвае от вокзала в центр. На площади висели огромные цветные рекламы кинотеатров, неподалеку возвышались громадный собор и башня ратуши.

Училище находилось в добротном старом небольшом здании – вид у него был буржуазный. Удивил мозаичный пол в вестибюле, я такого никогда не видел. (Кажется, теперь там музыкальная школа – здание уцелело во время войны.)

Основным экзаменом был, разумеется, экзамен по живописи – мы писали акварелью натюрморт, какие-то горшки. Затем были экзамены по другим дисциплинам, которые я сдал успешно, и, вернувшись домой, вскоре получил уведомление, что принят в училище.

В общежитии училища на койках были голые матрасы, набитые ватой, которая свалилась в твердые комья, – спать на этих матрасах было неудобно, как на камнях. Одеяло надо было иметь свое, и я привез из дому пестрое одеяльце, которое мама достала из сундука, где хранила самые ценные вещи. Одеяльце было выткано крестиками – черное с белым, и мои недоброжелательные друзья по общежитию увидели в нем подобие поповской ризы. От их насмешек мне было стыдно, и я укрывался одеяльцем только в самые холода, сверху набрасывал тужурку. Тужурка эта принадлежала когда-то первому маминному мужу. Перед революцией он был на заработках где-то в Курляндии, во время революции приехал, привез с собой необычный для деревни гардероб – тужурку, позолоченные запонки, целлулоидные воротнички и манжеты для рубашки. Сложил все это в сундук и уехал в Петербург. Где и сгинул. Мама ждала его чуть ли не пять лет, а затем, сходяв пешком в Полоцк поклониться святой Евфросинье Полоцкой, вышла замуж за своего соседа – вдовца Владимира Быкова.

Осенью начались занятия: живопись и рисунок, которые преподавал старый художник Лейтман (впрочем, это тогда он казался мне старым). Остальные предметы были те же, что и в обычной школе. Жил я поначалу в общежитии на Могилевской площади, теперь этого названия нет – Могилевскую переименовали в Советскую. Или в Центральную, точно не помню. Потом (почему – тоже не помню) меня и еще троих студентов поселили в частном доме на площади Смоленская ярмарка. Кажется, прежде эта площадь называлась Красной.

Город по-прежнему восхищал, манил, удивлял громадными зданиями и витринами. Иногда я заходил в собор, в котором уже не было икон и прочего церковного убранства. Под куполом качался знаменитый маятник Фуко – как доказательство, что Бога нет и Земля вертится. Остальные соборы к тому времени уже были взорваны.

Вечно голодных студентов, однако, больше всего манили столовые. Но, чтобы зайти в столовую, требовалась смелость. Нас сковывали, даже как-то пугали непривычная обстановка, чистые белые скатерти, официантки в белых накрахмаленных передничках. Официантки смотрели на нас, застенчивых деревенских подростков, с усмешкой, особенно когда принимали наш стыдливый «заказ».

Питались в основном хлебом с кипятком – буханка хлеба в день. Стоило это 1 рубль. Однажды мы подделали пару рублей: нарисовали акварелью, потом хорошенько измяли бумажки, чтобы они выглядели как старые потертые купюры. И продавщица ничего не заметила. Но больше мы на это не отважились...

Витебск в ту пору еще сохранял славу города художников, каким слыл издавна. Кроме художественного музея, на улице Гоголя был музей знаменитого Пэна. Музей этот был открыт после трагической гибели художника – он был убит при загадочных обстоятельствах. В небольшой комнате и на стенах вдоль деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, в мастерскую Пэна, висели его работы, выполненные в манере добротного реализма: портреты старых евреев-ремесленников, изображения лошадей, виды старинных кварталов Витебска. О прославленном ученике Пэна Марке Шагале, который жил в эмиграции в Париже, в родном городе

художника ничего не знали. Но времена меняются, и через много лет я был в числе тех, кто открывал на Покровской улице памятник знаменитому земляку.

* * *

Учился я в Витебске недолго. Осенью 1940 года объявили «радостную» новость: постановлением правительства стипендии отменяются, за все подручные материалы и учебники надо платить... Денег мне из дому не присылали, да я и не просил. Лишь однажды отец, собираясь в Витебск, чтобы повидаться со мной, заехал по дороге к дядьке Степану и взял у него займы три червонца. Червонцы эти я растягивал как мог. Тратил главным образом на хлеб – основное мое питание. Встанешь утречком, часов в 6, и бегом к хлебному магазину – занимать очередь. А очередь громадная. Хлебные карточки в то время уже отменили, поэтому за хлебом в город ринулись колхозники всех окрестных деревень, и не только окрестных. И когда в 8 часов открывался магазин, очередь превращалась в толпу, начиналась дикая давка.

На хлеб я тратил рубль в день, но ведь надо было покупать и краски. Да и обувка моя совсем прохудилась – из брезентовых гамашей вылезали пальцы... Попытался я с хлопцами найти какой-нибудь заработок – на погрузочной станции, на щеточной фабрике. Какие-то гроши зарабатывали, кое-как перебивались...

В Витебске, как ни странно, до самой войны сохранился мелкий частный сектор. И однажды на какой-то улице мы заметили маленький магазинчик-мастерскую с неумелой надписью над входной дверью – «Головные уборы шью». Хозяин магазинчика, старый Абрам, сам шил и продавал шапки. И вот, помню, я и Шевченко, хлопец из полесской деревни, зашли в магазинчик. (Шевченко потом тоже, как и я, бросил учебу – не мог учиться дальше. Ботинок у него не было, в осеннюю распутицу ходил в рваных войлочных бурках.) Договорились с хозяином сделать ему красивую вывеску, он пообещал заплатить нам за работу 15 рублей. Нашли мы кусок хорошей фанеры, загрунтовали, покрасили, написали по-белорусски «Галаў-ныя уборы». На одном конце доски намалевали кепку, на другом – шляпу. Приносим заказ. Хозяин смотрел, смотрел и говорит: «А почему шляпа? Что я, шляпы делаю для буржуев?» И не взял вывеску, отказался. Видно, еще со времен нэпа был напуган.

Так накрылся наш заработок. Еще какое-то время пошатавшись по городу в поисках хоть какого-нибудь заработка и ничего не найдя, я понял, что в училище мне не удержаться, с искусством придется кончать. Пошел в канцелярию за документами. Там был наш преподаватель литературы, кажется, Леваненок по фамилии, который сочувственно сказал: «Жаль, Быков, мог бы учиться – у тебя способности...» Мне тоже было жаль, но как я могу учиться? Отнес в комиссионку последнюю рубашку, на полученные деньги купил билет до Полоцка и две булки, которые сразу и съел, присев на скамейку в скверике, в котором ныне стоит памятник Пушкину.

Приехал в свою деревню, вернулся в школу, в десятый класс. Оказалось, что в учебе здорово отстал. А еще новые порядки – учебники платные, надо покупать. Но и купить негде, не хватает учебников. Дома прежняя нужда, в колхозе работа через пень-колоду, за трудодни не платят... Ни хлеба, ни дров.

Как раз в это время начался набор в новоорганизованные школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), и я вскоре вновь оказался в Витебске, стал фэзэушником. Что в Витебске – меня радовало. Знакомый уже город, любимые музеи. И воспоминания. Невеселые, однако, воспоминания... В школе ФЗО готовили каменщиков, бетонщиков, арматурщиков – все, очень далекое от искусства. Оно стало далеким и недоступным. Основная учеба фэзэушников – это работа под открытым небом, в любую погоду, на какой-нибудь стройке: класть кирпичи, замешивать раствор... Но тут кормили, давали койку в общежитии, позже стали одевать, выдавали фэзэушную форму. В художественное училище я не заходил, разве что вечером стоял иногда

под окнами, смотрел поверх занавесок на прикрытые тряпками скульптуры. Было тягостно и больно...

* * *

Зима 1940–1941 годов была очень холодная, с ветрами и жгучими морозами. А мы учились, как я уже сказал, под открытым небом. Помню, шло строительство дома на Суражском шоссе, я выкладывал угол, для чего требуется сноровка, а главное – точный глазомер, чтобы не искривить кладку. Бегали греться в цех черепичной фабрики, которая находилась рядом со стройкой, – там был затишек. Мой угол не совсем мне удался, чуточку покосился, дал крен, и наш наставник Андрей Иванович был недоволен. Какое-то время я переживал по этому поводу. (Зря, впрочем, переживал. Скоро от того дома останется груды щебня. А после войны не останется и следа – все здесь зарастет бурьяном и крапивой...)

В начале июня – выпуск. Нам объявили, что поедем работать на Украину, в город Шостка. До отъезда я попросил разрешения навестить домой, в деревню. На то была особая причина.

Дело в том, что в Шостке жил мой дядя. Это тоже истоки – история судьбы. Дядя когда-то был активистом, вступил в партию и даже сделал карьеру, работал редактором газеты где-то на Полесье. Но пока он служил там советской власти, дома эта власть раскулачила его родителей и брата, сослала их в Сибирь. Должно быть, худо пришлось моему дядьке, что он сбежал на Украину, в эту самую Шостку, подальше от родных мест, где все знают, что он сын репрессированного...

Приехал я домой, пошел к директору школы Слимборскому, рассказал о своем положении. Директор посочувствовал мне, огорчился, что у меня, отличника, все так неудачно сложилось, и выдал мне табель моей успеваемости за 10-й класс (аттестат он не мог выдать), поставил в таблице надлежащие оценки. Табель мне был нужен, чтобы осуществить свой план: в Шостке я сдам экстерном экзамены за среднюю школу (то, что я десятиклассник, подтвердит табель) и поступлю в тамошний индустриальный институт, к которому мой дядя имеет какое-то отношение. Пригодится и то, что он и Слимборский были знакомы...

Военная катавасия

Погожим июньским утром мы приехали на Украину. Белые мазанки, тополя, непривычный для уха язык на станциях, гоголевские ассоциации – все это перенесло в другой мир, романтический и сказочный. Не думал тогда, что так много драматического и трагического будет связано у меня с этой страной.

Не успел осмотреться, узнать по-настоящему город и даже найти своего дядьку, как грянула война. Поначалу это, признаться, не очень испугало нас, молодых: были же совсем недавно Финская война, перед нею – освободительный поход в Западную Белоруссию, все окончилось триумфальными победами. Победим и теперь. Тем более что нами руководит непобедимый товарищ Сталин. Но очень скоро стало тревожно, а затем и страшновато. Захотелось домой, в родные места. Да вот дороги туда уже не было. Когда германский вермахт занял Минск и Гомель, подступил к Киеву, военкомат мобилизовал нас. Сперва – на оборонные работы. Месяц, наверное, копали мы глубокий и далеко растянувшийся противотанковый ров, кажется, под Пироговкой, который так и оставили, не закончив, потому что немцы уже замыкали кольцо вокруг Киевского «котла»...

Тысячные колонны 17–18-летних юнцов потянулись по пыльным дорогам на восток. Стояла невыносимая жара. В селах и городках, которые мы проходили, нас провожали женщины и девушки, выносили еду, угощали фруктами, махали платками. Некоторые плакали. А мы бодрились, шутили. Кучку белорусов никто не оплакивал, наши плакальщицы были не здесь. Но и украинки жалели нас. На окраине древнего Глухова девушка с черной косой подбежала ко мне и поцеловала – то был первый в моей жизни волнующий девичий поцелуй. Ночевали обычно в гумнах, коровниках, опустевших уже школах. Хлопцы-украинцы очень хорошо пели. Как ни уставали они за день, все равно в темноте звездной летней ночи где-нибудь на краю села долго звучала их самая любимая песня: «Распрагайтэ, хлопци, коней та лягайтэ спачываць, а я піду в сад зэлэный, та крынычэньку копать!» Чуть рассветет – подъем и снова в путь, жарким и пыльным шляхом, пока не появятся в небе немецкие коршуны.

Едим, что и где придется. Мы в основном на подножном корме. К счастью, в то лето уродилось много яблок и овощей. Забегаем в придорожные лавки, в которых, однако, почти ничего нет. Все расхватили до нас. В Белгороде я решил купить фруктового чаю, чтоб поесть, когда прижмет, но был зажат толпой, сгрудившейся у прилавка, и долго не мог выбраться из нее. Из-за этого отстал от колонны, а потом вообще потерял ее. Пока бегал по забитым войсками улицам, настала ночь. Я зашел в полуразрушенный бомбой дом и, утомленный, уснул. Разбудили меня патрули. Отвели в комендатуру. Там – ночной допрос: кто такой? почему отстал? с какой целью? Обыскали, отобрали документы. Нашли в моей сумке карту – вырванный из учебника лист, на котором я, грамотей, отмечал положение на фронтах. Этот лист едва не погубил меня. Лейтенант в синей фуражке, приступивший к допросу, после первых же слов дал мне в ухо и почти сразу – в другое: «Почему скрывался?» Я попробовал было объяснить, что отстал от команды, что иду из Сумской области. А он на это: «Все так говорят. Грубо работают ваши фашисты, по шаблону. Но мы выьем из тебя все, что требуется, японский городской! Понял?»

Такую угрожающую брань я слышал впервые и запомнил на всю жизнь.

Правда, больше меня не били и, злобно костеря, отвели в подвал. В камере было темно, но чувствовалось, что там есть люди. Не видя их, я присел у двери. Вскоре, присветив фонариком, в камеру сунули кого-то еще, и мне пришлось отодвинуться подальше. Я прислонился к стене и, кажется, ненадолго задремал...

* * *

Едва занялось утро, проснулся. При слабом свете разглядел своих соседей, их было человек восемь. Один лежал на боку, вытянув длинные ноги в высоко намотанных обмотках. Другой сидел рядом, на голове у него была фуражка со звездой. А еще один, в белой вышитой рубашке, ворочался, заложив руки за спину. Я увидел, что они связаны, и невольно подался к нему, чтобы развязать. Но человек этот судорожно дернулся и простонал: «Не трогай, застрелят!» И я отвернулся.

К моему удивлению, из камеры до полудня никого не выводили, а добавили еще троих. Все молчали, только один из новичков вдруг заплакал. Но на него кто-то резко прикрикнул: «Стихни! Разнюнился...» Все чего-то ждали и прислушивались к тому, что происходит наверху. А там действительно происходило что-то непонятное – рычали машины, раздавались громкие крики, звучали отрывистые команды.

В полдень началась жуткая бомбежка, и наше училище так затрясло, что с потолка посыпались какие-то ошметки. Где-то строчили пулеметы, но зениток не было слышно. Это сдержанно отметил мой сосед в обмотках.

Под вечер несколько человек вывели из камеры. В ней стало посвободнее. А наверху по-прежнему было шумно: невдалеке глухо бухали пушки. Несмотря на это, я снова уснул. И открыл глаза лишь тогда, когда меня окатило волною свежего воздуха. Дверь была распахнута, и в ней стояли военные в плащ-палатках. Ударами кирзачей разбудили они тех, кто лежал поближе, и приказали им выходить.

Через некоторое время в другом конце здания послышались выстрелы. «Четыре...» – в испуге сказал кто-то в камере (именно столько увели). Лицо моего соседа в вышитой рубашке сделалось таким белым, будто его обсыпали мукой. А дверь начала открываться все чаще, из камеры выводили одного за другим. Усилившаяся перестрелка не могла заглушить доносившихся до нас одиночных выстрелов, которые, как я мог различить, раздавались совсем близко. В очередной раз пришли двое – молодой в синей фуражке и пожилой усатый красноармеец с винтовкой. Усатый скомандовал мне: «На выход!» – и я послушно поднялся. Плохо помню, как вышли мы из-под нависшего свода, как, пройдя через мощный двор и завернув за угол каменного здания, оказались на вытопанных огородных грядках. Там, под старым дощатым забором, увидел я в крапиве длинные ноги в высоко намотанных обмотках. И не выдержал – слезы ручьями потекли из глаз. Красноармеец остановился, видно, удивленный моим безмолвным плачем, и неожиданно бросил: «Беги, пацан! Быстро!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.